

Иван Тургенев

# Человек в серых очках



**Иван Сергеевич Тургенев**  
**Человек в серых очках**  
Серия «Литературные и  
жизненные воспоминания»

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3007265](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3007265)*

**Аннотация**

«...Однажды – дело было в первых числах февраля 1848 года – я сидел за одним из столиков, расположенных вокруг кофейной Ротонды (de La Rotonde) под навесом. Человек высокого роста, черноволосый с проседью, жилистый и сухощавый, в заржавленных железных очках со стеклышками серо-дымчатого цвета на орлином носу, вышел из кофейной, оглянулся и, вероятно, убедившись, что все места под навесом были заняты, подошел ко мне и попросил позволения подсесть к моему столику. Я, разумеется, согласился...»

# Содержание

# Иван Сергеевич Тургенев

## Человек в серых очках

### *(Из воспоминаний 1848 года)*

Всю зиму с 1847 на 1848 год я прожил в Париже. Квартира моя находилась недалеко от Пале-Рояля, и я почти каждый день ходил туда пить кофе и читать газеты. Тогда еще Пале-Рояль не был таким почти заброшенным местом, каким он стал теперь, хотя дни его славы уже давно миновали, той громкой и особенной славы, которая, бывало, влагала в уста нашим ветеранам 1814 и 1815 годов, при первом свидании с человеком, возвратившимся из Парижа, неизменный вопрос: «А что поделявает батюшка Пале-Рояль?» Однажды – дело было в первых числах февраля 1848 года – я сидел за одним из столиков, расположенных вокруг кофейной Ротонды (de La Rotonde) под навесом. Человек высокого роста, черноволосый с проседью, жилистый и сухощавый, в заржавленных железных очках со стеклышками серо-дымчатого цвета на орлином носу, вышел из кофейной, оглянулся и, вероятно, убедившись, что все места под навесом были заняты, подошел ко мне и попросил позволения подсесть к моему столику. Я, разумеется, согласился. Человек в серых очках не сел, а обрушился на стул, сдвинул на затылок свой ветхий цилиндр и, опершись костлявыми руками на сукова-

тую палку, потребовал чашку кофе, а от поданной ему газеты отказался с пренебрежительным пожатием плеча. Мы обменялись немногими незначительными словами: помнится, он раза два воскликнул про себя: «Какое проклятое... проклятое время!» – торопливо выпил чашку и вскоре ушел; но впечатление, оставленное им, не тотчас во мне изгладилось. То был, несомненно, француз из южной Франции – провансалец или гасконец; его загорелое морщинистое лицо, ввалившиеся щеки, беззубый рот, глухой и как бы каркающий голос, самая одежда, истасканная, запачканная, словно не на него сшитая, – все говорило о беспокойной, страннической жизни. «Бывалый, ломаный, битый человек, – думалось мне, – он не только теперь в «подмазке»; он, вероятно, всю жизнь провел в тесноте да в подчинении; откуда ж это – не то невольное, не то сознательное чувство превосходства в выражении лица, в каждом движении, в самой походке, шмыгающей, небрежной? Бедняки – смиренные – так не ходят». Особенно поразили меня его глаза, темно-карие с желтоватыми белками; он их то раскрывал во всю ширину и устремлял прямо перед собою неподвижный и тупой взор, то странно ежил их, приподнимая взъерошенные брови и взглядывая боком через края очков... злая насмешливость загоралась тогда в каждой его черте. Впрочем, я недолго размышлял о нем в тот день: ожидание предстоявших банкетов в пользу реформы волновало весь Париж – и я принялся читать газеты.

На следующий день я опять отправился пить кофе в Пале-Рояль и опять встретился с вчерашним господином. Он первый поклонился мне, как знакомому. Слегка усмехнувшись и уже не испросив позволения – точно он знал, что свидание с ним должно мне быть приятным, – он поместился за моим столиком, хотя ни один из других столиков занят не был, и немедленно вступил в разговор, нисколько не чинясь и не стесняясь.

Прошло несколько мгновений...

– Ведь вы иностранец? Русский? – внезапно спросил он, медленно пошевеливая ложкой в чашке кофе.

– Что я иностранец – вы могли догадаться по моему выговору; но почему вы признали меня за русского?

– Почему? Вы сейчас сказали «pardon» – вот этак, с растяжкой: «ра-ardon». Одни русские так растягивают слова. Впрочем, я и без того знал, что вы русский.

Я хотел было попросить объяснения... Но он заговорил опять:

– Вы очень хорошо сделали, что приехали сюда именно теперь. Время любопытное для туриста. Вы увидите... большие дела («de grandes choses»).

– Что я увижу?

– А вот что. Теперь начало февраля... Месяца не пройдет – и Франция будет республикой.

– Республикой?

– Да. Но погодите радоваться... если только это вас раду-

ет. К концу года Бонапарты будут обладать (он употребил гораздо более сильное выражение) той же самой Францией.

Когда он упомянул о близости республики, я, конечно, ему ни на волос не поверил и только подумал: «Вот человек удивить меня хочет: благо я, в его глазах, неопытный скиф»... Но Бонапарты! с какой стати Бонапарты?! В тогдашнюю пору, при Лудовике-Филиппе, никто не думал о Бонапартах; во всяком случае, никто не говорил о них. Уж не наткнулся ли я на мистификатора? Или на одного из тех проходимцев, которые шатаются по кофейным и гостиницам, вынюхивая иностранцев, и кончают обыкновенно тем, что деньги взаймы просят? Однако нет: не такая у него повадка... Притом эта бесцеремонная развязность обращения, этот равнодушный тон, с которым он произнес свои парадоксы...

– Вы, стало быть, полагаете, что король не согласится ни на какую реформу? – спросил я после небольшого молчания. – Требования оппозиции, кажется, не велики...

– Да, да, да! (Сопни, сопни...) – небрежно промолвил он. – Расширение выборного права, допущение талантов, и т. д., Слова, слова, слова. Ни банкетов не будет, ни король не уступит, ни Гизо не захочет. А впрочем, – прибавил он, вероятно заметив то не совсем выгодное впечатление, которое он произвел на меня, – к черту политику! Делать ее – весело; смотреть, как другие ее делают, – глупо. Маленькие собачки так поступают, когда большие... наслаждаются жизнью. Ма-

леньким остается одно: лаять или визжа. Будемте говорить о другом.

Не помню, о чем зашла наша беседа...

– Вы, конечно, бываете в театрах? – спросил он меня опять с той же внезапностью, которую я уже в нем заметил и которая заставляла предполагать, что он несколько не слушает то, что ему говорят. – Ведь вы все, господа русские, до этого большие охотники.

– Бываю.

– И, вероятно, восхищаетесь нашими актерами?

– Да, иными... Особенно в Theatre Francais...

– Всех наших актеров, – перебил он меня, – губит хороший вкус. Эти традиции там, консерватории – беда! Все они какие-то выпотрошенные да замороженные. У вас в России такие рыбы бывают на рынках, зимой. Ни один из наших актеров не скажет на сцене: «Я люблю вас», не расставив ноги в виде циркуля и не закатив томно глаза. И все ради хорошего вкуса! Настоящих актеров можно найти только в Италии. Когда я жил в Италии... Кстати, что вы скажете о той конституции, которую король Бомба пожаловал своим верноподданным? Не скоро он им простит эту милость... не скоро! Ну... вот, когда я жил в Неаполе – на тамошнем народном театре такие водились молодцы... прелесть! Да всякий итальянец – актер. У них это в натуре... А мы только толкуем о натуральности. У нас даже на Пале-Рояльском театре никто не может потягаться с любым уличным проповедни-



ком... «Per le santissime anime del Purgatorib<sup>1</sup> – воскликнул он вдруг певучим носовым голосом и, сколько я мог судить, очень похоже, с чистым итальянским акцентом.

Я засмеялся – и он засмеялся беззвучно, широко раскрывая рот и косясь через края очков.

– Однако... Рашель, – начал было я...

– Рашель, – повторил он. – Да; это сила. Сила и цвет того жидовства, которое теперь завладело всеми карманами целого мира и скоро завладеет всем остальным. У кого карман в руках, у того и женщина; а у кого женщина, у того и мужчина. (Qui a la poche, a la femme; et qui a la femme, a l'homme.) Да... Рашель! То же вот, что Мейербер, который все грозит да дразнит нас своим «Пророком». Дам... Нет, не дам... Ловкий человек; еврей – одним словом... маэстро, только не в музыкальном смысле. Впрочем, и Рашель в последнее время попортилась... а все вы, господа иностранцы, виноваты. В Италии есть одна актриса... ее зовут Ристори. Она, говорят, за какого-то маркиза вышла и сцену покинула. Хороша: только кривляется маленько.

– Вы долго жили в Италии? – спросил я.

– Да, пожил. Да где я не жил!

– Вы, кажется, и в России были?

– А музыку вы тоже любите? – промолвил он, не отвечая на мой вопрос – В оперу ходите?

– Я музыку люблю.

---

<sup>1</sup> «Клянусь святейшими душами чистилища!» (*um.*)

– Любите? Гм! любите? Понятное дело; вы – славянин, а все славяне – меломаны. Самое это последнее искусство. Когда оно не действует на человека – скучно; когда действует – вредно.

– Вредно? почему же вредно?

– Оно вредно – как слишком теплые ванны. Спросите докторов.

– Вот как! Ну – а о других искусствах вы какого мнения?

– Искусство только одно и есть: ваяние. Вот это холодно, бесстрастно, величаво – и зарождает в человеке мысль – или иллюзию, как угодно, – о бессмертии и вечности.

– А живопись?

– Живопись? Крови много, тела, красок... много греха. Голых женщин пишут! Статуя никогда гола не бывает. И к чему разжигать человека? Люди и так все грешны, преступны; все насквозь проникнуты грехом.

– Все без исключения? и все насквозь?

– Все! Вы, я, даже вот этот толстый холостяк с добродушным лицом, который покупает куклу в подарок чужому ребенку, а может быть, и своему – все преступны. У каждого в жизни есть уголовщина – и никто не имеет права сказать, что ему нет места на той пакостной скамейке, на которую сажают обвиняемых.

– Вам это лучше знать, – вырвалось у меня невольно.

– Именно так: мне это лучше знать. «Experto credi (вместо

crede) Roberto»<sup>2</sup>.

– Ну – а литература? Какое ваше мнение о литературе? – продолжал я свой экзамен. «Коли ты меня мистифицируешь, – подумал я, – почему ж и мне не потрунить над тобою? Ты же делаешь ошибку в латинской цитате, которой никто от тебя не требовал».

Незнакомец равнодушно усмехнулся – словно понял мою мысль.

– Литература не искусство, – промолвил он небрежным голосом. – Литература должна прежде всего забавлять. А забавляет только литература биографическая.

– Вы такой охотник до биографий?

– Вы меня не так поняли. Я понимаю те произведения, в которых авторы рассказывают читателям о самих себе – на показ себя выставляют – то есть на смех. Ничего иного люди настоящим образом знать не могут... да и то! Вот почему самый великий писатель – Монтень. Такого нет другого.

– Он слывет за великого эгоиста, – заметил я.

– Да; и в этом его сила. У него у одного достало смелости быть эгоистом – и посмешищем – до конца. Оттого он меня и забавляет. Прочту страницу, другую... посмеюсь над ним, над самим собою... и баста!

– Ну – а поэты?

– Поэты занимаются музыкаю слов, словесной музыкой.

А вы знаете мое мнение о музыке.

---

<sup>2</sup> «верь опытному Роберту» (лат.)

– Что же должно читать? И что должен, например, читать народ? Или вы полагаете, что народу читать не следует?

(Я заметил на одном из пальцев незнакомца кольцо с гербом; несмотря на его мизерный и обтерханный вид, мне сдавалось, что он должен придерживаться аристократических мнений; а быть может, и сам он по происхождению принадлежал аристократии.)

– Напротив, – отвечал он. – Народ должен читать; но что он читает – это совершенно безразлично. Говорят, ваши мужики все одну и ту же книжку читают. («Францыл Венецианец», – мелькнуло у меня в голове.) Дочитают один экземпляр – другой такой же купят. И прекрасно делают. Это придает им важности в собственных глазах и мешает им размышлять. А кто в церковь ходит – тому и вовсе читать не нужно.

– Вы придаете такое значение религии? Незнакомец покосился на меня через края очков.

– Я в Бога плохо верю, милостивый государь; но религия – дело важное. Служить ей... быть попом едва ли не лучшее звание. Попы молодцы; они одни постигли сущность власти: повелевать с смирением – и повиноваться с гордостью, вот и весь секрет. Власть... власть... обладать властью – другого счастья на земле нет!

Я уже начал привыкать к неожиданным скачкам нашего разговора – и только старался не отставать от моего странного собеседника. А он, напротив, говорил с таким видом,

как будто все эти аксиомы, которые он столь уверенно высказывал, вытекали одна из другой последовательно и логично, хотя вы в то же время чувствовали, что ему совершенно все равно, соглашаетесь ли вы с ним или нет.

– Если вы так властолюбивы, – начал я, – и такого высокого мнения о духовенстве, – отчего же вы сами не пошли по этой дороге, не сделали священником?

– Ваше замечание справедливо, милостивый государь; но я метил выше. Я сам хотел основать религию. И я попытался... во время моего пребывания в Америке. Впрочем, не я один имел это намерение. Там этим вообще занимаются.

– Вы тоже были в Америке?

– Я там два года прожил. Вы, может быть, заметили – я вынес оттуда скверную привычку жевать табак. Не курю и не нюхаю... а жую. Извините! (Он сплюнул в сторону.) Так вот в чем дело: я хотел основать религию и уже придумал было очень недурную легенду. Только для того, чтобы она принялась, надо быть мучеником, кровь свою пролить... Без этого цемента фундамента не выведешь. Не то, что на войне: там гораздо полезнее чужую кровь проливать. А свою... нет! Я этого не хотел. Слуга покорный!

Он помолчал с минуту.

– Вы меня сейчас назвали властолюбивым, – заговорил он снова. – Это вы правду сказали. Я, например, уверен, что я еще буду королем.

– Королем?

– Да, королем... На каком-нибудь необитаемом острове.

– Королем... без подданных?

– Подданные всегда найдутся. У вас в России есть поговорка: «Было бы корыто» и т. д. Людям это свойственно – подчиняться. Нарочно в мой остров через море переплывут, чтобы только подчиниться властителю. Это верно.

«Да ты сумасшедший!» – подумал я про себя.

– Не оттого ли вы полагаете, – промолвил я громко, – что французы подчинятся Бонапартам?

– По этой именно причине, милостивый государь.

– Позвольте, позвольте, – воскликнул я, – ведь у французов и теперь есть король, властитель. Стало быть, та людская потребность, о которой вы говорите, потребность подчиняться – удовлетворена.

Мой собеседник покачал головою.

– В том-то и штука, что нынешний наш король, Лудовик-Филипп, вовсе не чувствует себя королем, властителем. Впрочем, мы не хотели говорить о политике.

– Вы предпочитаете философию? – заметил я.

Он сплюнул свой жевательный табак далеко в сторону, по-американски.

– Ага! Вам угодно иронизировать? Что ж? Я и от философии не прочь; тем более что она у меня очень проста и вовсе не похожа, например, на немецкую философию, которую я, впрочем, совсем не знаю, но ненавижу, как и всех немцев. – Глаза незнакомца внезапно разгорелись. – Я ненавижу их,

ибо я патриот. Ведь и вы тоже, как русский, должны их ненавидеть?

– Позвольте... я...

– А коли нет – тем хуже для вас. Вот погодите – они еще дадут вам себя знать. Я их ненавижу, я их боюсь, – прибавил он, понизив голос, – и одно из моих лучших воспоминаний состоит в том, что и мне удалось стрелять по ним, по этим немцам!

– Вы стреляли? где же это?

– А опять-таки в Италии. Я участвовал... Впрочем, стойте. Мы, кажется, беседовали о философии. Честь имею доложить вам, что вся моя философия заключается в следующем: в человеческой жизни есть два несчастья – рождение и смерть. Второе несчастье менее велико... оно может быть добровольным.

– А сама жизнь?

– Гм! гм! Этого разом не определишь. Но заметьте, что и в жизни есть только две хорошие вещи: а именно – когда человек способствует рождению... или смерти, то есть одному из тех двух несчастий, о которых была речь. «Guerra, каза y amores»<sup>3</sup>, – говорят испанцы.

Я случайно знал эту поговорку.

– Вы забываете второй стих, – заметил я. – «Pog un placer mil dolores»<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> «На войне, на охоте и в любви» (исп.)

<sup>4</sup> «За одно наслаждение – тысяча страданий» (исп.)

– Прекрасно! Вот вам и доказательство верности моей философии. А впрочем, – прибавил он, быстро вставая со стула, – мы достаточно поболтали. До свидания!

– Погодите... постойте! – воскликнул я. – Мы с вами разговаривали около часа – а я еще не знаю, с кем я имел честь...

– Вы хотите знать мое имя? К чему вам оно? Ведь я не спрашивал вас о вашем. Я не спрашивал вас также о том, где вы живете, – и не считаю нужным сказать вам, где я живу, в какой пребываю трущобе. Мы сходимся здесь – ну и прекрасно. Ведь моя беседа вам нравится? – Он насмешливо прищурил глаза. – Я вам нравлюсь?

Меня немножко покорило. Очень уже бесцеремонен был этот господин.

– Я вами интересуюсь, милостивый государь, – отвечал я с преднамеренной расстановкой, – но вы мне не нравитесь.

– А я вами не интересуюсь – но вы мне нравитесь. Кажется, этого довольно для таких отношений, каковы наши. Если угодно, зовите меня... ну, хоть *monsieur Francois*. А вас, если позволите, я буду звать *monsieur Ivan*. Ведь почти все русские Иваны. Я в этом удостоверился в то время, когда имел неудовольствие состоять гувернером у одного вашего генерала, в одной вашей губернии. И глуп же был этот генерал – и бедна ж была эта губерния! Засим прощайте, *monsieur Ivan*!

Он повернулся – и пошел.

– Прощайте, *monsieur Francois*, – крикнул я ему вслед.



«Что за человек? – спрашивал я самого себя, возвращаясь домой. – Что за странное существо! Дразнит ли он меня, выдумывает разные небылицы или действительно убежден в том, что говорит?.. Что он делает? Чем занят? Какое его прошлое? Кто он? Неудавшийся литератор, публицист, школьный учитель, разоренный промышленник, обедневший дворянин, актер в отставке? И чего он добивается теперь? И почему он выбрал именно меня в свои поверенные?»

Все эти вопросы я себе ставил... и разрешить их, конечно, не мог. Но мое любопытство было затронуто – и я не без некоторого волнения отправился на другой день в Пале-Рояль. На этот раз я, однако, напрасно прождал моего чудака; зато на следующий день он опять появился под навесом кофейной.

– А! Monsieur Ivan! – воскликнул он, как только меня увидел: – Здравствуйте. Вот нас опять свела судьба. Как вы поживаете?

– Помаленьку, благодарствуйте. А вы как, monsieur Francois?

– И я тоже помаленьку. Sa boulotte. Вчера, однако, чуть не издох... Судороги в сердце... Смертью запахло... скверный запах! Но это неважно. Только знаете что: пойдемте, сядемте

в сад; а то здесь народу много набралось. Терпеть не могу, когда на меня смотрят со стороны или кто сзади сидит, за спиной. Да и погода чудесная.

Мы отправились в сад – сели. Помнится, когда ему пришлось платить два су за свой стул, он достал из кармана крошечный, ветхий, плоский портмоне, долго рылся в нем – да и денег в портмоне едва ли было много больше, чем те два су. Я ждал, что он возобновит свои парадоксы... но вышло иначе. Он принялся меня расспрашивать о разных значительных русских лицах. Я отвечал ему, как умел; но ему все хотелось больше подробностей, больше биографических черт. Оказалось, что ему много было известно такого, чего я не подозревал. Большой запас сведений был у этого человека.

Понемногу разговор перешел на политику. Да и трудно было ее избежать, при тогдашнем возбужденном состоянии умов. Мусье Франсуа упомянул вскользь и словно нехотя о Гизо, о Тиэре; по поводу первого заметил, что вот как Франция несчастна: один только у ней и выискался человек с твердой волей – и то некстати; а о втором пожалел, сказав, что роль его теперь надолго кончена.

– Помилуйте, она только начинается! – воскликнул я, – какие речи он держит в палате депутатов!

– Теперь пойдут другие люди, – пробормотал он, – а все эти речи – один только шум, и больше ничего. Плышет человек в лодке – и говорит водопаду... а тот его сейчас перекувырнет вместе с его лодкой. Да, впрочем – вы мне не верите.

– Что ж, – продолжал я, – вы разве полагаете, что Одилон Барро... – Тут мусье Франсуа уставился на меня и расхохотался, закинув назад голову.

– Бум, бум, бум, – произнес он, передразнивая гарсона, разносившего кофе в ротонде, – вот вам весь Одилон Барро... Бум, бум!

– Да! – промолвил я не без досады. – Ведь, по-вашему, мы накануне республики. – Социалисты, что ли, будут эти новые люди?

Мусье Франсуа принял несколько торжественную позу.

– Социализм родился у нас во Франции, милостивый государь – да и во Франции же умрет, если уже не умер. Или его убьют. Убьют его двояко: или насмешкой – не может же господин Консидеран безнаказанно уверять, что у людей вырастет хвост с глазом на конце... или вот как. – Он поставил обе руки, как бы прицеливаясь из ружья. – Вольтер говаривал, что у французов не эпические головы; а я осмеливаюсь утверждать, что у нас не социалистические головы.

– За границей о вас не такого мнения.

– В таком случае вы все, господа, за границей в сотый раз доказываете, что не понимаете нас. В настоящее время социализм требует творческой силы. Он пойдет за ней к итальянцам, к немцам... к вам, пожалуй. А француз – изобретатель (он почти все изобрел)... но не творец. Француз остер и узок, как шпага, – вот он и проникает в суть вещей, изобретает, находит... А чтобы творить – надо быть широким, круглым.

– Как англичане или ваши любимые немцы, – ввернул я не без насмешки.

Но мусье Франсуа не обратил внимания на мою шпильку.

– Социализм! Социализм! – продолжал он. – Это не французский принцип. У нас совсем другие принципы. У нас их – два; два краеугольные камня: революция и рутина. Робеспьер и мусье Прюдом – вот наши национальные герои.

– В самом деле? А военный элемент – куда вы его деваете?

– Да мы вовсе не военный народ. Вас это удивляет? Мы храбрый, очень храбрый народ; воинственный, но не военный... Славу Богу, мы больше этого стоим.

Он пожевал губами.

– Да; это так. И со всем тем – не было бы нас, французов, не было бы и Европы.

– Но была бы Америка.

– Нет. Ибо Америка – та же Европа, только наизнанку. У американцев нет ни одной из тех основ, на которых зиждется здание европейского государства... а между тем – выходит одно и то же. Все людское – одно и то же. Вы помните наставление унтер-офицера рекрутам: «Направо кругом – совершенно то же самое, что налево кругом; только оно совершенно противоположно». Ну вот и Америка: та же Европа – только налево кругом.

– Если бы Франция была Римом, – проговорил мусье Франсуа после недолгого молчания, – вот когда бы кстати явиться Катилине! Теперь, когда скоро, очень скоро – вы

это увидите, милостивый государь! – камни (он возвысил голос) – камни на наших мостовых – вот тут, близко, где-нибудь рядом с нами – опять отведают крови! Но у нас Каталины не будет – и Цезаря не будет; а будет все тот же Приюдом с Робеспьером. Кстати, не согласитесь ли вы со мною: как жалко, что Шекспир не написал «Каталины»!

– А вы высокого мнения о Шекспире, несмотря на то, что он поэт?

– Да. Он был человек, счастливо рожденный – и с дарованием. Он умел видеть в одно и то же время и белое и черное, что очень редко; и ни за белое не стоял, ни за черное – что еще реже. Вот еще хорошую вещь он написал – «Кориолана»! Лучшая его пьеса!

Мне тотчас же припомнились мои догадки насчет аристократизма мусье Франсуа.

– Вам «Кориолан», может быть, оттого так нравится, что в этой трагедии Шекспир очень непочтительно, почти презрительно отзывается о народе, о черни?

– Нет, – возразил мусье Франсуа. – Я чернь не презираю; я вообще народ не презираю. Прежде чем презирать других, надо бы начать с самого себя... что со мной случается лишь урывками... когда мне есть нечего, – прибавил он, понизив голос и сумрачно насупив брови. – Презирать народ?! С какой стати? Народ – то же, что земля. Хочу, пашу ее... и она меня кормит; хочу, оставляю ее под паром. Она меня носит – а я ее попираю. Правда, иногда она вдруг возьмет да

встряхнется, как мокрый пудель, и повалит все, что мы на ней настроили, – все наши карточные домики. Да ведь это, в сущности, редко случается – эти землетрясения-то. С другой стороны, я очень хорошо знаю, что в конце концов она меня поглотит... И народ меня поглотит тоже. Этому помочь нельзя. А презирать народ? Презирать молено только то, что при других условиях следует уважать. А тут ни тому, ни другому чувству места нет. Тут надо пользоваться умеючи. Всем уметь пользоваться – вот что надо.

– А позвольте спросить – вы умели пользоваться? Мусье Франсуа вздохнул.

– Нет; не умел.

– Неужели?

– Не умел, говорят вам. Вы вот смотрите на меня и, пожалуй, думаете: «Ты, мол, пророчишь, что скоро во Франции настанут перевероты... вот тут тебе и ловить рыбу – в мутной-то воде». Но щука не в мутной воде ловит рыбу. А я даже не щука!

Он круто повернулся на стуле и ударил кулаком по его спинке.

– Нет! ничем я не умел пользоваться, а то бы я не в таком виде предстал перед вами! – Он указал на всего себя беглым движением руки. – Я бы тогда, может быть, совсем не познакомился с вами... О чем я бы очень сожалел, – прибавил он с натянутой улыбкой. – И я бы не жил там, в том чердаке, где я живу, – не имел бы возможности, вставая поутру и бросая

взгляд на море крыш и труб Парижа, повторять восклицание Югурты: «Urbs venalis!»<sup>5</sup> Гм. Да; а был бы я сам, как этот город, не был бы я в теперешнем положении; не было бы этой нужды да бедности...

«Вот когда он у меня денег попросит», – подумалось мне. Но он умолк, уронил голову на грудь и начал чертить по песку концом палки. Потом он опять глубоко-глубоко вздохнул, снял очки, достал старый клетчатый платок из заднего кармана, свернул его в клубочек и провел им раза два по лбу, высоко поднимая локоть.

– Да, – промолвил он наконец чуть слышно, – жизнь – печальная штука; печальная штука жизнь, милостивый государь мой. Одно утешает меня, а именно то, что я умру скоро – и непременно насильственной смертью. («И не будешь королем?» – чуть не сорвалось у меня с языка; но я удержался.) Да, насильственной смертью. Вы посмотрите на это (он поднес ко мне левую руку, в которой держал очки, ладонью кверху – и, не выпуская платка, положил на нее указательный палец правой... неопрятны были обе). – Вы видите эту черту, пересекающую жизненную линию?

– Вы хиромантик? – спросил я.

– Вы видите эту черту? – настойчиво повторил он. – Стало быть, я прав. – А вы наперед знайте, милостивый государь, если, находясь в таком месте, где вам меньше всего бы следовало вспоминать обо мне, вы все-таки обо мне вспомните

---

<sup>5</sup> «Продажный город!» (лат.)

– знайте: меня не стало.

Он опять понурился и руку с платком уронил на колено; другая с очками повисла, как плетка. Я воспользовался тем, что глаза мусье Франсуа были опущены – не смущали меня, – и внимательнее прежнего посмотрел на него. Он мне вдруг показался таким стариком; такая усталость сказывалась в наклоне его спины и плечей, в самой постановке его больших плоских ног, обутых в заплатанные сапоги; так горько стиснулись губы, так глубоко ввалились небритые щеки, так хило поникла тощая шея, так уныло повис клок поседелых волос на изрытый морщинами лоб... «Несчастный, жалкий ты человек, – решил я тут же про себя, – несчастный во всех твоих начинаниях и предприятиях, в семейных и всяческих делах. Если ты был женат – жена тебя обманула и бросила; а если у тебя есть дети – ты их не видишь и не знаешь...»

Громкое восклицание на русском языке прервало мои размышления: кто-то звал меня. Я обернулся и в двух шагах от себя увидел всем известного А. И. Г<ерцена>, проживавшего тогда в Париже. Я встал и подошел к нему.

– С кем ты это сидишь? – начал он, нисколько не умеряя своего звонкого голоса. – Что за фигура?

– А что?

– Да, помилуй, это шпион. Непременно шпион.

– Ты разве его знаешь?

– Вовсе не знаю; да стоит только взглянуть на него. Вся ихняя манера. Охота тебе с ним якшаться. Смотри берегись!



Я ничего не ответил А. И. Герцену». Но так как я знал, что при всем его блестящем и проницательном уме понимание людей, особенно на первых порах, у него было слабое; так как я хорошо помнил, что за его гостеприимным и радушным столом попадались иногда самые неблагоприятные личности, личности, которые возбуждали его доверчивую симпатию двумя-тремя сочувственными словами и которые впоследствии оказывались действительными... агентами, как он это сам потом рассказал в своих записках, то я и не придавал особенной важности его предостережению и, поблагодарив его за дружескую заботливость, вернулся к своему мусье Франсуа. Тот сидел по-прежнему, неподвижный и понурый.

– Что я хотел сказать вам, – заговорил он, как только я уселся возле него. – За вами, господа русские, водится дурная привычка. Вы на улице, перед чужими, перед французами, говорите громко между собою по-русски – словно вы уверены, что никто вас не поймет. А это неосторожно. Вот я, например, все понял, что сказал ваш приятель.

Я невольно покраснел.

– Пожалуйста, не думайте... – начал я. – Конечно... мой приятель...

– Я его знаю, – перебил меня мусье Франсуа, – он человек весьма остроумный... Но «errare humanum est»<sup>6</sup> (мусье Франсуа, очевидно, любил щегольнуть латынью). Судя по

---

<sup>6</sup> «Человеку свойственно ошибаться» (лат.)

моей наружности, можно предполагать обо мне... все что угодно. Но только позвольте спросить вас: если даже я был бы тем, чем меня назвал ваш приятель, какая была бы мне польза выслеживать вас?

– Конечно... конечно... вы правы. – Мусье Франсуа уныло посматривал на меня. – Вы выучились русскому языку, когда были гувернером у генерала? – спросил я довольно некстати; но мне хотелось поскорее загладить неприятное впечатление, которого не могло не произвести несколько опрометчивое суждение А. И. Г<ерцена>.

Лицо мусье Франсуа оживилось: он даже осклабился, хлопал меня по колену, как бы желая дать мне почувствовать, что понимает и ценит мое намерение, надел очки, поднял уроненную им палку.

– Нет, – промолвил он, – я выучился раньше. Я тогда выучился вашему языку, когда попал из Америки в Сибирь, из Техаса чрез Калифорнию... Я и там был – в вашей Сибири! И какие со мной чудеса совершались!

– Например?

– Я о Сибири говорить не стану... по многим причинам. Боюсь огорчить вас или оскорбить. Памалшим лутчи, – прибавил он ломаным русским языком. – Хе, хе. Но вот послушайте, что со мной однажды случилось в Техасе.

И мусье Франсуа принялся, с не свойственной ему до тех пор обстоятельностью, рассказывать, как он, странствуя по Техасу зимой, забрел раз, поздно вечером, в блокгауз к од-

ному поселенцу из мексиканцев; как, проснувшись ночью, он увидел своего хозяина сидящим на его постели с обнаженным ножом в руке – «*сop una navaja*»; как этот человек, огромного роста, бычачьей силы и пьяный, объявил ему, что намерен его зарезать по той причине, что он, Франсуа, лицом напоминает ему одного из злейших его врагов. «Докажи мне, – говорил мексиканец, – что мне не следует потешить себя и не выпустить из тебя всю кровь, как из борова, – так как я могу совершить все это вполне безнаказанно, и никто на свете не узнает, что с тобой случилось; да если кто бы и узнал, все-таки к ответу меня не потянут, ибо никому на свете нет до тебя никакого дела. Ну, доказывай!.. времени у нас, слава Богу, довольно». И я, – продолжал мусье Франсуа, – всю ночь до утра, лежа под его ножом, принужден был доказывать этому пьяному зверю – то приводя тексты из Священного писания (на него, как на католика, это могло действовать), то придерживаясь общих рассуждений, что удовольствие, которое доставит ему моя смерть, не настолько будет велико, чтобы стоило из-за него марать руки... «Надо будет мой труп зарыть, хоть ради опрятности; все это хлопоты...» Я принужден был даже сказки сказывать, даже песни петь... «Пой со мною! – рычал он. – *La mucha-cha-a-a!*...» И я ему подтягивал... а лезвие ножа, *de cette diablesse de navaja*<sup>7</sup>, висело на вершок от моего горла. Кончилось тем, что мексиканец заснул рядом со мною, положив свою косматую

---

<sup>7</sup> этой дьявольской навахи (фр.)

гадкую голову ко мне на грудь.

Всю эту историю мусье Франсуа рассказал мне тихим голосом, не спеша, как бы засыпая, и вдруг вытаращил глаза и умолк.

– Ну и что же вы с ним сделали? – спросил я, – с мексиканцем-то?

– Да я... лишил его возможности вперед так глупо шутить.

– То есть это как же?

– Взял у него из рук нож... да, покончивши с этим делом, отправился далее. Случались со мною и другие приключения... А все больше от них, от проклятых, – прибавил он, указывая пальцем на проходившую женщину, скромно одетую, средних лет.

– От кого?

– От этих... юбок, – пояснил он свою мысль. – О, эти женщины! женщины! Они-то вам ломают ваши крылья, они отравляют лучшую вашу кровь. А впрочем, прощайте. Я, вероятно, уже надоел вам – а я никому надоедать не намерен. Особенно тому, в ком я не нуждаюсь.

Он гордо выпрямил свой стан, встал – и удалился, едва кивнув мне головою и развязно помахивая палкой.

Я, признаться, всей этой мексиканской истории не поверил; она даже повредила мусье Франсуа в моих глазах. И опять мне пришло на мысль, что он меня дурачит. Но с какой целью? Чудак! чудак! – повторял я. – За шпиона я его,

однако, признать все-таки не мог, несмотря на уверения А. И. Г<ерцена>. Меня удивляло то, что каким это образом ни один из многочисленных прохожих в Пале-Рояле не заговорил с ним, не узнавал его? Правда, он некоторым из них подмигивал глазом... Или это мне тоже так показалось?

Я забыл сказать, что от мусье Франсуа никогда не пахло вином. Впрочем, ему, может быть, не на что было и купить вина. Но нет: он вообще производил впечатление трезвого человека.

Ни на другой день, ни в следующие дни он не явился на свидание – и понемногу я забыл о мусье Франсуа.

\* \* \*

Незадолго до 24 февраля я уехал в Бельгию – и весть о государственном перевороте во Франции дошла до меня в Брюсселе. Помнится, в течение целого дня никто не получал ни писем, ни журналов из Парижа; жители толпились на улицах и на площадях; все замирало в тревожном ожидании. 26 февраля, в шесть часов утра, я еще лежал – хотя и не спал – на постели в номере гостиницы, – как вдруг наружная дверь растворилась настежь и кто-то зычно прокричал: «Франция стала республикой!» Не веря ушам своим, я вскочил с кровати, выбежал из комнаты. По коридору мчался один из гарсонов гостиницы – и, поочередно раскрывая двери направо и налево, бросал в каждый номер свое поразительное восклицание.

цание. Полчаса спустя я уже был одет, уложил свои вещи – и в тот же день несся по железной дороге в Париж. На границе сняты были рельсы; спутники мои и я – мы с трудом в наемных повозках добрались до Дуэ и к вечеру прибыли в Понтуаза... Рельсы около Парижа были также сняты. Здесь не место передавать все то, что я испытал, видел и слышал во время этого путешествия. Помню, что на одной станции мимо нас с шумом и треском пронесся локомотив с одним вагоном первого класса: в этом экстренном поезде мчался «экстренный комиссар» республики, Антоний Туре; ехавшие с ним люди махали трехцветными флагами, кричали; служащие на станции с немим изумлением провожали глазами громадную фигуру комиссара, до половины высунутую из окна, с высоко приподнятою рукою... 1793, 1794 годы невольно воскресали в памяти. Помню, что, не доезжая Понтуаза, произошло столкновение нашего поезда с другим, встречным... Были раненые – но никто не обратил даже внимания на этот случай; у каждого тотчас явилась одна и та же мысль: можно ли будет дальше ехать? И как только наш поезд снова тронулся, все тотчас заговорили с прежним одушевлением, все, исключая одного седого старичка, который с самого Дуэ забился в угол вагона и беспрестанно повторял шепотом: «Все пропало! все пропало!» Помню также, что в одном вагоне со мною находилась известная г-жа Гордон; она вдруг начала проповедовать о необходимости прибегнуть к «принцу», о том, что «принц» один может все спасти... Сначала никто ее

не понял; когда же она произнесла имя Луи-Наполеона – все отвернулись от нее, как от безумной. Однако слово, сказанное мусье Франсуа насчет Бонапартов, на мгновение мелькнуло у меня в голове... первое пророчество его сбылось лее.

Не стану также распространяться о пережитых мною впечатлениях при въезде в Париж, при виде всюду пестревших трехцветных кокард, вооруженных блузников, разбиравших камни баррикад, и т. п. Весь первый день моего пребывания в Париже прошел в каком-то чаду. На следующий день я, по обыкновению, отправился в Пале-Рояль, спросил у «гражданина» гарсона чашку кофе – и хотя не встретил там мусье Франсуа, однако мог убедиться, что его предчувствие насчет крови, долженствовавшей обогреть камни на улицах, окружающих Пале-Рояль, оправдалось: известно, что почти единственная битва, ознаменовавшая февральские дни, произошла на площади, отделяющей это здание от Лувра. И в последующие дни я не наткнулся на мусье Франсуа. В первый раз увидел я его 17 марта – в самый тот день, когда громадная толпа работников ходила к ратуше протестовать перед временным правительством против известной манифестации так называемых «медвежьих шапок» (раскассированных гренадеров и вольтижеров национальной гвардии). Размахивая руками и широко шагая, шел он посреди толпы – и не то пел, не то кричал; он подпоясался красным шарфом и прищипил красную кокарду к шляпе. Глаза наши встретились; но он не подал вида, что узнает меня, хотя нарочно

обратился ко мне всем лицом: «Смотри, мол; да; это я!» – и закричал пуще прежнего, преувеличенно раскрывая темный рот. В другой раз увидел я его в театре. Рашель пела своим гробовым голосом марсельезу; он сидел в партере, там, где в обыкновенное время помещаются клакёры. В театре он не кричал и не хлопал; но, скрестив руки на груди, с сумрачным вниманием глядел на певицу, когда она, кутаясь в складках схваченного ею знамени, призывала граждан – «к оружию», «к пролитию нечистой крови!». Не могу наверное сказать, видел ли я его 15 мая в массе народа, шедшего мимо церкви Маделены на штурм палаты депутатов; но нечто похожее на его фигуру мелькнуло в передних рядах, и едва ли не его голос – его особенный, глухой и гулкий голос – послышался мне среди криков: «Да здравствует Польша!»

Зато в начале июня, а именно 4-го числа, мусье Франсуа внезапно предстал предо мною в той же кофейной Пале-Рояль. Он поклонился мне, даже руку мне подал (чего прежде не делал) – но не подсел к моему столику, как бы стыдясь своей окончательно истасканной одежды, своей надломанной шляпы; да и, кроме того, его пожирало – так, по крайней мере, мне показалось – беспокойное, нервическое нетерпение. Лицо его осунулось, губы и щеки подергивало то вверх, то вниз; воспаленные глаза едва виднелись под очками, которые он беспрестанно поправлял и надвигал на нос всей пятерней. Я в этот раз мог убедиться в том, что уже подозревал прежде: стекла в его очках были простые стекла, и он,



собственно, вовсе не нуждался в них; оттого-то он так часто взглядывал через их края. Очки для него были вроде маски. Тревога, та особенная тревога бесприютного и голодающего бродяги, сказывалась во всем его существе. Почти нищенская наружность этого загадочного человека возбуждала мое недоуменье. Если он точно – агент, то отчего же он так беден? Если же он не агент – то что же он такое? Как понять его поведение?

Я заговорил было с ним о его предсказаниях...

– Да... да... – пробормотал он с лихорадочной торопливостью... – Это все дело прошлое – de l'histoire ancienne. Но вы разве не собираетесь в вашу Россию? Вы еще останетесь здесь?

– А почему же мне не оставаться?

– Гм. Это ваша забота. Но ведь мы скоро воевать с вами будем?

– С нами?

– Да, с вами, с русскими. Нам скоро славы будет нужно, славы! Война с Россией неизбежна!

– С Россией? А почему же не с Германией?

– Прежде с Россией. Впрочем, это все впереди. Вы молоды... доживете. – А республика... (он махнул рукою). Кончено! C'est fichu!

– Национальные мастерские! Национальные мастерские! – воскликнул он с внезапным одушевлением. – Были вы там? видели их? Видели, как они в тачках землю с

одного места на другое перевозят?; Вот откуда все пойдет. Что будет крови! крови! Целое море «крови! Какое положение! Все предвидеть и ничего не мочь сделать!! Быть ничем! ничем! Все обнимать (он широко расставил руки с болтавшимися, изорванными рукавами... кольцо на указательном пальце, однако, уцелело...) – и ничего не схватывать! (он стиснул кулаки) – ни даже куска хлеба! Завтрашние выборы тоже довольно важны, – поспешно подхватил он, как бы не давая самому себе останавливаться на высказанном чувстве. Мусье Франсуа назвал мне поименно депутатов, которых, по его словам, непременно выберут парижане; сказал мне число голосов – круглыми цифрами, – которые каждый из них получит. Между именами, названными мусье Франсуа, находилось имя Коссидиера, которому он назначал первое место.

– Несмотря на пятнадцатое мая? – спросил я.

– Вы, может быть, полагаете, что я это говорю, потому что он был префектом полиции? – возразил мусье Франсуа с горькой усмешкой, но тотчас же встряхнулся и опять заговорил о выборах. Луи-Наполеон тоже попадал в список. – Он будет из последних в хвосте (à la queue), – заметил мусье Франсуа, – но и этого довольно. Взбираясь по лестнице, надо сперва перешагнуть последние ступеньки, чтобы попасть на первую.

Я в тот же вечер передал все эти имена и цифры в доме А. И. Г. <ерцена>; и очень хорошо помню его изумление, когда на другой день все предсказания мусье Франсуа опять

сбылись, от слова до слова. «Откуда ты все это знаешь?» – спрашивал меня не раз А.И.Г<ерцен>. Я назвал источник, откуда я почерпал свои сведения. «А! Гибрид этот!» – воскликнул Г<ерцен>.

Но возвращаюсь к нашей беседе в кофейной. Около того времени в числе имен, вращавшихся в устах молвы, часто стало повторяться имя Прудона. Я назвал его. Он, по моему мусье Франсуа, тоже стоял в списке избранных, правда последним, что, впрочем, тоже оправдалось. Но оказалось, что мусье Франсуа не придавал ему большого значения так же, как и Ламартину и Ледрю-Ролленю. Обо всех этих лицах он отзывался с пренебрежением – с оттенком сожаления о Ламартине, с оттенком злобы о Прудоне, этом «софисте в деревянных башмаках» (*ce sophiste en sabots*). А Ледрю-Ролленя он прямо назвал: «*Ce gros beta de Ledru*»<sup>8</sup> – и все возвращался к национальным мастерским. Вся наша беседа продолжалась, впрочем, недолго, не более четверти часа. Мусье Франсуа так и не присел и все оглядывался, словно поджидая кого-то. Я, между прочим, вспомнив его красную кокарду, сказал:

– Так как вы все-таки мне кажетесь республиканцем...

– Какой я республиканец! – перебил он меня, – с чего вы это взяли? Это хорошо для овощных торговцев (*pour les épiciers*). Они еще верят в принципы 89 года, всеобщее братство, прогресс – а я...

---

<sup>8</sup> «Этот толстый идиот Ледрю» (*фр.*)

Но тут мусье Франсуа внезапно затих и глянул в сторону. Я оглянулся тоже. Какой-то старик в блузе, с длинной белой бородой, делал ему знаки рукою. Он ответил ему тем же и, не прибавив слова, подбежал к нему, и оба исчезли.

После встречи в кофейной я видел мусье Франсуа всего три раза. Раз издали, в Люксембургском саду. Он стоял рядом с бедно одетой молодой девушкой; она о чем-то слезно умоляла его, стискивала руки и подносила их к губам... А он угрюмо отнекивался, нетерпеливо топал ногой и, внезапно оттолкнув ее локтем, надвинул шляпу на лоб и пошел прочь. Она побежала в другую сторону как потерянная. Вторая наша встреча была более знаменательна; она произошла 13 июня, в самый тот день, когда на площади Согласия в первый раз появилось скопище бонапартистов, на которое Ламартин указал с трибуны палаты и которое вскоре разогнали линейные войска. В одном из углов, образуемых стеной Тюльерийского сада, я увидел человека в пестром костюме шарлатана, стоявшего на ручной, двухколесной тележке и раздававшего брошюры. Я взял одну из них: в ней заключалась биография, крайне хвалебная, Луи-Наполеона. Этого человека, бретонца, с громаднейшей шапкой длинных и взбитых кверху волос, я видывал и прежде на загородных бульварах и площадях: он продавал зубной эликсир, мазь против ревматизма – разные всеисцеляющие средства и т. п. Пока я перелистывал взятую мною брошюру, кто-то слегка тронул меня за плечо. Мусье Франсуа! Он улыбался во весь свой беззубый

рот и иронически посматривал на меня через края очков.

– Начинается! Вот когда оно начинается! – проговорил он, странно переминаясь на месте и потирая руки. – Вот когда! Вот он – апостол, провозвестник! Нравится он вам?

– Этот волосатый шарлатан? – воскликнул я. – Этот шут? Да вы смеетесь надо мною!

– Да, да, шарлатан! – возразил мусье Франсуа. – Так оно и следует. Необычайные волосы, запястия на руках, трико с золотыми блестками... Это-то и нужно! Надо поражать воображение! Легенда, милостивый государь, легенда нужна! Чудодейство нужно! Реклама! Сценическая постановка! Сперва человек удивится... а потом уважает! Что я говорю – уважает? Верит... верит! А вы извольте помнить: настоящее дело теперь только начинается... И когда будет пройдено Чермное (Красное) море (la Mer rouge)...

Но тут с площади Согласия нахлынула толпа, беспорядочно бежавшая от солдатских штыков, и разрознила нас.

В последний раз я увидел – тоже издали – мусье Франсуа во время страшных июньских дней. Он был одет в мундир национального гвардейца из провинции, держал ружье наперевес – и я не берусь передать словами, какую холодную жестокость выражало его лицо.

\* \* \*

С тех пор я уже никогда не встречался с мусье Франсуа. В

начале 1850 года мне пришлось побывать в русской церкви, на свадьбе одного знакомого – и вдруг, Бог ведает почему – словно что меня толкнуло, – стал думать о мусье Франсуа. Мне тут же пришло в голову, что так как другие его предсказания сбылись, то, пожалуй, и на этот раз он мог оказаться пророком – и его точно нет уже в живых. Впрочем, несколько лет спустя мне довелось с достоверностью убедиться в его смерти. А именно: в одном магазине, за прилавком, я заметил женщину, в которой я, после недолгого колебания, узнал девушку, так горько плакавшую в Люксембургском саду перед мусье Франсуа. Я решил напомнить ей об этой сцене. Сперва она выказала недоумение – но, как только поняла, в чем дело, тотчас пришла в страшное волнение, побледнела, покраснела и попросила меня не вдаваться в дальнейшие расспросы.

– По крайней мере, скажите мне, умер ли этот господин или нет?

Женщина пристально посмотрела на меня.

– Он умер смертью, которой заслуживал... он злой был человек. Впрочем, – прибавила она, – он был тоже очень... очень несчастлив. – Больше я ничего добиться от нее не мог, и кто, собственно, был мусье Франсуа – осталось для меня загадкой.

Есть такие морские птицы, которые появляются только во время бури. Англичане называют их *stormy petrels*<sup>9</sup>. Они но-

---

<sup>9</sup> буревестниками (англ.)

сятся низко в тусклом воздухе, над самыми гребнями разъяренных волн, и исчезают, как только настанет ясная погода.